

Овчаренко Эдуард

Когда-то великий француз Оноре де Бальзак сказал, что гении рождаются в провинции и умирают в столице. Не потому ли и нынче всякий, кто хоть бочком притерся к миру служителей искусства, при переезде в столицу заранее начинает ощущать себя гением? Что ни говори, уже приобрел входной билет на участие в лотерее, которую сама госпожа Судьба разыгрывает... А на что остается надеяться так и оставшимся жить в тихой провинции?

...Теперь уже больше тридцати лет назад в уютный, теплый в любое время года Майкоп мы переехали из грохочущего металлом, черного от копоти и от угольной пыли холодного Новокузнецка, но долго еще душа моя оставалась в далеких, где прошла молодость, сибирских краях: ездил, бывало, зимой на вокзал соседнего Белореченска, чтобы потрогать почти истаявший, но все еще, казалось мне, припахивающий коксовым дымком нашей «кузницы» снег на сценках вагонов идущего в Адлер поезда... В благословенной, как я знаю ее уже нынче, Адыгее чувствовал тогда себя одиноко, сам того не сознавая, искал общения — потому-то и обратился однажды зимой к разглядывающему витрину продуктового магазина на Краснооктябрьской незнакомому человеку, шутливо спросил: сквозь двойное стекло, мол, пытаетесь разглядеть, какую колбасу нынче в продажу «выбросили»?

Как искренне, как беззаботно-громко он рассмеялся! Слово извинения потом за этот, который можно было принять на мой счет, смех, добродушно взялся толковать, что он — художник, пишет как раз картину, на которой женщина задумчиво стоит у покрытого морозным узором окна, а где в этом райском уголке найдешь такое окно? Каждый вечер слушает с надеждой сводку погоды, ранним-рано выскакивает на улицу, чтобы обежать и домики с крошечными окнами на окраине, и большие витрины в центре, но вот он, вот — всего лишь маленький уголок с намеком на морозный узор...

Как-то сразу подружился, но память о нашей встрече у витрины «Гастронома» в центре Майкопа все не давала мне покоя — вскоре я написал маленький рассказ «Иней на стекле», который ему, Эдику, художнику Эдуарду Овчаренко, и посвятил, и который посчитал потом нужным включить в томик вышедшего уже спустя полтора десятка лет своего «Избранного».

«...так хорошо мне было постоянно возвращаться к мысли о том, — заканчивался этот рассказ, — что есть в этом крошечном городке, есть человек, который приподнимался перед витриной гастронома на цыпочки вовсе не затем, чтобы посмотреть, большая ли очередь, да какую сегодня продают колбасу».

Разве это, и в самом деле, не важно было в ту, которую многие почем зря кланут теперь, пору?

Разве не важнее того стало сегодня?

Оглядываясь на непростое прошитые всеми нами, всюю нашей страной годы, с чувством благодарности старому товарищу «за Верность и Веру», как раньше в России значилось на высших государственных орденах, вижу и нынче, как он, словно забытый жестоким временем часовой, стоит все на том же, который нам никак нельзя оставлять, посту: не при возведенной «демократии» в символ «общечеловеческих ценностей» колбасе — при полусказочном морозном узорочьи...

Другое дело — чего ему это стоит.

Уроженец Анастасиевской, в грозном сорок втором оказавшейся под эпицентром самых напряженных по накалу воздушных боев, мальчишкой он несколько тоскливых месяцев наблюдал, как один за другим падают наши «ястребки», сбиваемые германскими асами, с

замиранием сердца замечал, как упорно увеличивается время ежедневных поединков над станицей, и вместе с такими же, как сам, голыми оголцами с восторгом увидел потом, наконец, долгожданную картину: как врезался в землю подожженный наш пилотом «немец» с черным крестом — то было начало перелома на знаменитой «голубой линии».

О символах собственного детства задумается он куда позже, а сперва был послевоенный неустойчивый быт, когда почти все мы, мальчишки того поколения, в школе на уроках и дома самодельными чернилами из бузины учились писать на пробелах меж газетными строками... А ему вздумалось рисовать.

Закончил художественную училище в Краснодаре, куда на собственные деньги после восьмого класса отвезла верившая в него учительница... святое время, как вспомнишь теперь, и правда, — святое!



Э. Овчаренко. В глубине души такая печаль... 2003

Потом были три полноценных армейских года, когда, с отсидкой на «губе» отказавшись от непыльной службистской оформительской работы с его главной заботой — красиво писать лозунги, техником по вооружению летал на бомбардировщиках и, надо полагать, старательнее других прицелом ловил учебные цели. После армии мечтал продолжить учебу и первый шаг для этого уже сделал — в художественной Академии в Ленинграде обратил на себя внимание мастерством рисовальщика, но ходить по инстанциям и бить в гимнастерку со знаком отличника боевой и политической подготовки на груди не пожелал: опоздал нынче — приедет на следующий год.

Но приехать он так больше и не смог.

Размышляя над поворотами судьбы своего товарища уже из сегодняшнего дня, вдруг начинаешь понимать, что именно это сделало его таким, каков он сегодня есть: неумная жажда учебы не только начисто лишила его свойственного инстинкту, кто считает вузовский диплом за жар-птицу в клетке, самодовольства — раз и навсегда определила его в самую серьезную высшую школу, школу постоянного, неутомимого самообразования. Завзятый книголюб, он собрал у себя обширную, с множеством уникальных изданий библиотеку, и от доказательств того, что вся она прочитана, другой раз приходится полуслушливо отказываться: мол, сколько можно, Эдуард Никифорович, ученый разговор вести — хватит — хватит, последний ты наш энциклопедист!

Пошучиваю, но что правда, то правда: более глубокого собеседника и проницательного критика не знаю не только в южных наших кра-

РУКА ПУШКИНА, ИЛИ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ЭДУАРДА ОВЧАРЕНКО

ях, но и куда посевней. Выступления его на культурных, где приходилось бывать, мероприятиях, всегда отличала самая высокая интеллектуальная планка, и в небольшом, но затаенно щедром ищущем, подчас тоскующим, сокровенно талантливыми людьми, каким давно знаю Майкоп, городе, художник Овчаренко стал, если разобравшись, такую же, слава Богу, живой достопримечательностью, как зна-

судьбы Республики.

По сути Овчаренко был одним из самых первых в Майкопе профессиональных мастеров живописи, и та самая жажда учебы, которая его никогда не оставляла, вольно или невольно сделала его собирателем Союза художников Адыгеи.

Вышло так, что в гостеприимной его мастерской провел немало часов, когда жил в Майкопе, постоянно навещал ее потом, когда переехал в Москву, в дни отпусков либо счастливых командировок на Юг. Кому, как не мне, было видеть, как оставаясь в ней очередного способного ученика из школьников, чтобы отлучиться в городской парк, посмотреть на работы оформителей либо самостоятельных художников — несколько из них, принятые когда-то давно в Худфонд, теперь стали гордостью Республики.

И в ком только Овчаренко не принимал участия. Помню, на свои трудовые, как говорится, на три дня поселил в гостинице только что прибывших из Москвы выпускников

ка в своем отечестве, нет!

Впрочем, это, как говорится, особ-статья, Феликс Петуаш, к нему, даст Бог, еще обратимся, когда радеющие о настоящем искусстве люди, выдвинут, наконец, и его на Республиканскую премию, а пока вернемся к соискателю нынешнему.

Как человеку, добивавшемуся всего собственными руками, ему не только не чуждо чувство здорового самоуважения — он, пожалуй, самолюбив, но чье, грехи наши, творчество самолюбием не подпитывается?

В силу непростого, но искреннего характера «перестройка» стала для Овчаренко личной трагедией: бывший председатель Адыгейского оргбюро Краснодарского Союза художников, а после — глава Союза художников Адыгеи, он пытался уберечь от передела сообщажитое Худфондом имущество, но лишь заработал нелестную репутацию: ведет, мол, себя как собака на сене, у которого давно нет хозяина...

Размолвки с коллегами на этой почве подтолкнули к ревизии собственного творчества вообще. Как будто не было перед этим ни самобытного стиля, ни найденного им в лучших картинах «своего» — голубого колорита. Не было успеха на зональных выставках, не было участия с высоко оцененными портретами в столичных, не было поощрительных творческих поездок за рубеж: в Болгарию и Швейцарию... Несколько долгих лет на Овчаренко было больно смотреть, казалось, вся его неиссякаемая раньше энергия ушла на одинокое строительство причудливого домика в дачном товариществе «Авиатор»... о, это товарищество!

Невольно вспоминается оживление, царившее раньше в майкопском аэропорту, вспоминаются десятки рядком стоящих зеленых и голубовато-серых «кукурузников» АНОВ, на которые глядишь через иллюминатор, когда такой же самолетик поднимает тебя над землей. Каких только не начиналось отсюда путей, куда только майкопчане тогда не улетали. А всеобщая слава майкопского аэроклуба?!

Но вот словно все это в одночасье разбилось, рассыпалось в прах. Глянешь с горы на раскинувшийся внизу «Авиатор» — и здесь и там отставными умами приспособленными для души либо для полива садики-огородики авиационные емкости, вынутые из туалетов «аннушек» умывальные баки, разнокалиберные отсеки фюзеляжей и почему-то — торчащий из земли хвост «кукурузника»... кладбище машин почти исчезнувшей теперь с лица земли, окончательно растворившейся в нашем небе «малой авиации»?

Для меня «Авиатор» на какое-то время стал кладбищем высоких стремлений и несбывшихся надежд моего друга, детства которого прошло среди останков сбитых над станицей машин... на этот раз уничтожаем сами себя?

Однажды потом он сбросил с обширного холста покрывало, и я надолго смолк, не зная, что сказать ему... расспросить? Или, может быть, начать с шуток: мол, тонкий мастер полувоздушной «обнаженки», хочешь удивить нас теперь этим коричневым, этим громадным, этим голым, с бугром напряженной спины мужиком?

Каких только на этот счет догадок не строили: «Разве непонятно, что это — Сизиф? Вон гора перед ним, а под ногами — только что слетевший с вершины камень... Опять придется катить вверх». «А что там за рыжие холмы и над ними вдаль — синий свет?» «Хоть крест он не написал, но это, надо полагать, — крестная ноша...» «Да брось, брось, — просто это память о том, как на строительство дачки упирался!» «Зря вы. И не крест он несет, а — холст. Он холст не может оторвать от земли». «Он собственными руками прикован к холсту — сгорбил, уже не взлетит, не воспарит...»

(Окончание на 6-й стр.)

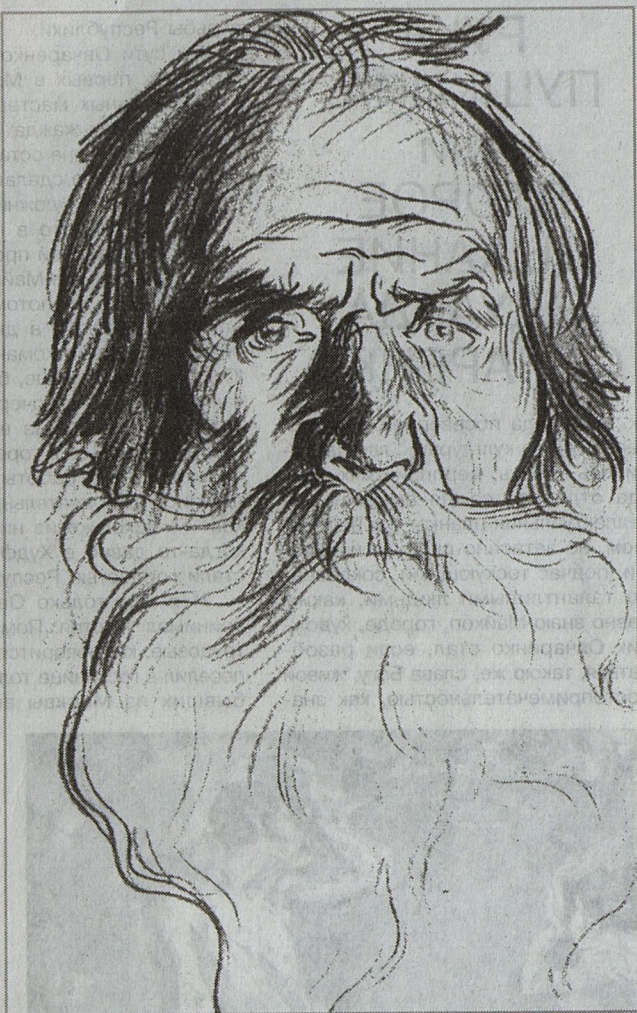
149

ГАЛЕРЕЯ
«ХУДОЖНИК
РОССИИ»

Чем больше я знакомился с историей искусства, мирового и нашего, русского, тем больше укреплялся в своей любви к темам деревенским

А.А. Пластов

Воспроизведены рисунки
разных лет из блокнота
А.А. Пластова



(Окончание.)

Начало на 5-й стр.)

Все-таки взлетел.

...С Юнусом Чуюко мы работали над переводом его новой вещи «Милосердие Черных гор, или Смерть за черной речкой» — Юнус обозначит ее потом как роман-гипезе, роман-плач. Один из главных героев этого многослойного, как это у Чуюко всегда, многопланового романа — Поэт. Александр Пушкин. Само собой, что в воображении у всякого он — свой, особенный, но за время совместной работы образ Поэта во многом сделался для нас в каких-то черточках общим, и мы невольно переглянулись, когда Овчаренко, три года назад пригласивший нас к себе в мастерскую, поставил на станок средних размеров полотно: «А это, братцы, — мой Пушкин. С Натальей Николаевной... с Музой, если хотите. Еще не закончил, показываю вам первым...»

Они касались друг дружки спинами, образуя некое двуединство: в голубоватом воздушном одеянии с глубоким вырезом романтическое создание с чудной головкой, повернутой в глубь холста, и прилепившийся к ней, глядящий в противоположную сторону Поэт: над плечом в темном сюжете — слегка запрокинутое лицо с профилем, нарочито, как сразу показалось, приближенным к авторским шаржам самого Пушкина: по ним так и не поймешь, где кончается насмешка над собой и начинается боль. Под скрытым в белом воротничке подбородком — выброшенныеazole груди тонкие пальцы... может, они-то больше всего остального и создавали впечатление нарочитой манерности?

Но ведь Пушкин-то — само естество!

Упоенные собственным видением Поэта, не только рыцаря свободы — чуть не джигита, мы с кунаком не проявили тогда ни жалости, ни сочувствия, и больше всего досталось этой непонятно о чем вопрошающей руке: «наш» с Юнусом, как бы уже «черкесский» Пушкин одинаково твердо держал в руке и перо, и кисть, и пистолет... а эта — что?!

— Не принимаете такого Пушкина... а сколько мучаюсь! — с непривычной открытостью, беззащитно проговорил мой товарищ. — Перечитал все, что только нашлось в Майкопе... Юнус знает. Может, поищешь книжки в Москве?... Что-

то, что еще не было известно. Еще не издавалось, а теперь... в юбилейный год вышло много. Может быть, альбомы, проспекты выставок — поищешь?

В столичных магазинах и на уличных книжных развалах ворошил новинки в нужных отделах, невольно заглядывая и в те, куда давно не заглядывал... сколько же в «белокаменной» издано нынче всякого дерьма, в котором единственно ценное — высокого качества бумага!... К великой скорби, относится это и к публикациям о нашем Поэте. Но были и удивительно глубокие книги о нем, были!

Относил ли потом их на почту, возвращался ли с Пушкинского праздника в Михайловском, заезжал ли в Захарово, где неподалеку от восстановленного теперь дома Ганнибалов живет старый добрый знакомец Владимир Семенов, один из потомков Арины Родионовны, вместе с Сергеем Гаврилыченко, одним из секретарей Союза художников, открывшем «своего» Пушкина в «кавказской» батальной картине «Дело на Инжа-Су», бывал на юбилейных выставках в честь Поэта или же размышлял о нем в дружеской беседе с Сергеем Александровичем в его гостеприимной мастерской — всюду я теперь мысленно возвращался и в майкопскую мастерскую, к заботам озадаченного нами, не на шутку огорченного нами Эдуарда Никифоровича: что он там — сам?... Как в трудных заботах мастера, намеренного достичь немногими пока покоренной высоты, опекает верная его Муза — Валентина Арсеньевна, столько лет терпящая не только непростой характер муженька, но в силу своего положения — бесменный на протяжении более трех десятков лет директор художественного салона в центре адыгейской столицы — обязанная терпеть профессиональные претензии многих и многих, достижения свои считающих теперь непременно в твердой валюте?

К собственным замыслам о Пушкине — в «Роман-журнале XXI век» и в «Роман-газете» к этому времени уже вышли мои рассказы на «пушкинскую» тему, — к размышлениям о прозе Юнуса, первым среди адыгейских писателей сделавшего серьезную заявку на создание образа «солнца русской поэзии», ярко осветившего когда-то седой Кавказ, неразделимо прибились теперь и раздумья о нереа-

лизованном во всю свою силу творческом потенциале моего друга-художника, о его своеобразной манере, которой он и тут наверняка не изменит... Но ведь потому-то и общаемся мы, потому дружим, чтобы творческие заботы сделались общими, потому, бывает, и громко спорим, и впадаем в гусарство, чтобы наутро потом строже стать и беспощадней: прежде всего — к себе самому.

С какой радостью увидел я, наконец, законченную картину своего товарища!

Уже другую картину.

В этом, пожалуй, и есть суть настоящего искусства, очарование его, его волшебство: еще не всмотревшись в тонкости, по яркому и теплему, зовущему к себе колориту, по изяществу линий, по удивительной пластике — уже не глазами, а как бы сердцем вдруг ощущаешь, что если это не классика, то приближение к ней — уверенное, мощное, настолько неподдельно-естественное, что ты вдруг невольно спрашиваешь себя: откуда это богатство в давно знакомой тебе мастерской, откуда этот якобы неожиданный дар ее хозяину... или это уже его дар — всем нам?!

Теперь они разъединены: сидящая Наталья Николаевна, в каждом легком изгибе которой, в беспомощно повисшей руке, в повороте головы, ткнувшейся в ладонь другой, видишь неизбывное страдание, и Александр Сергеевич — может, бегущий, а, может быть, легко летящий уже в запредельных даях, где величавое вдохновение наконец-то обретает желанный покой... «на свете счастья нет, а есть покой и воля»: это хочет повторить вслед за Поэтом изобразивший его художник?

Кажется, в картине есть все: и встреча, и расставание, и перемена судеб... Над золотистой нишей, которую можно трактовать и как авансцену, где на виду у всех происходит жизнь знаменитостей, и как неожиданное открывшееся почти интимное внутреннее пространство кареты, — уходящие друг от друга коляска Натальи Николаевны, по близорукости своей не увидавшей едущего к месту дуэли мужа, и возок Данзаса с Пушкиным, глядящим в сторону на Неву... конечно, помните: «Не в крепость ли ты веешь меня?...»

С тех пор, как разошлись они, пройдет четырнадцать лет, и Ната-

лья Николаевна, давно ставшая Пушкиной-Ланской, напишет хорошо понимавшему ее новому мужу из Германии: «В глубине души такая печаль... Ничто не может меня развлечь, ни путешествие, ни новые места. Я ношу в себе постоянное беспокойство...»

«В глубине души такая печаль» — так и называется картина Эдуарда Овчаренко, название это можно прочесть на ленте поверх золотистой ниши, по бокам от разминувшихся кареты и возка... Надпись на траурном венке? Реквием поэту?

Картина-плач, если хотите, как у Чуюко — его роман?

Или — торжество жизни? ... «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет...»

Конечно, — пророчество.

Но — только ли о себе? Только ли?!

От одной новой картины к другой неспешно ходил потом по мастерской, словно преобразившейся от свежести и яркости красок, с радостным изумлением глядел на пейзаж, который мог написать лишь человек с молодой и щедрой душой, смотрел натюрморт, которого, показалось, не могло быть у Овчаренко раньше, пытался угадать смысл жанровых картин: полуфантастических, причудливых, но полнокровных от переполнявших их земных соков... Покачивал головой, что-то восторженное взмывало, и Борис Воронкин, которого застал у Овчаренко, сказал дружелюбно и чуть насмешливо:

— Вот-вот. Также и высокие гости из Союза художников, которые перед тобой тут у Шефа побывали: откуда, мол, это чудо в тупиковом Майкопе? И — чуть ли не во всех жанрах сразу... портрет Шипитыка тоже видел?

Стоял напротив подчеркнуто реалистического, но именно потому-то глубоко выразительного портрета Анатолия Шипитыка, руководителя ансамбля «Русская удаль», давно и прочно ставшего славянской составляющей не только в разнотипной культуре Адыгеи с ее главной черкесской становой жилой, но все уверенней звучащего на всем многонациональном просторе России... Не зря, пожалуй, обратился Овчаренко к образу этого современного подвижника — разве сегодня они, и в самом деле, исчезли в разливанном море чужого авангарда и всевоотечественной «попсы»?

Молча покачивал головой, уни-

ротно радуясь успехам давнего своего товарища — и действительно самоотверженным трудом подтвердившего расхожую поговорку о «втором дыхании»: вот оно!.. Покачивал головой, а сам невольно поглядывал на главную, на «пушкинскую» картину — не отпускала.

При всей свободе и воле воображения — какая выверенность линий, какая выразительная точность всякого жеста!

— Руки Натальи Николаевны — еще ладно, — будто сам с собой заговорил. — Беспомощность женщины, к которой многое приходит задним числом... Но его руки так изобразить! Особенно — правая... рука творца...!

— По-моему, эта рука и оторвала меня от пола и хоть немного приподняла, — в обычной своей манере ворчливо, еще не дослав, остановил размышления мой друг.

Понимает ли сам до конца, сколь многое ему теперь удалось?

Не преувеличиваю: ведь в многолетних размышлениях о грандиозных наших планах и малых делах родился не только крошечный мой рассказик «Иней на стекле» — был потом большой рассказ «Приключения скелета в Майкопе», в котором я волю поиздевался над Эдиком, над собой, над обитателями соседних с овчаренковской мастерских... вообще-то странное дело, странное! В мастерских этих провел куда больше времени, чем где бы то в здешних краях ни было, давно сделались чуть ли не родными, а правда! Только теперь вот со всею определенностью и понял, как тут здешние художники все вместе потихоньку растили меня: и незаметно влияли, и втолковывали свое, и потихоньку, когда надо, подбадривали и подпитывали не только в мысле питания, нет...

А что же наша «белокаменная»? Как мы еще недавно говаривали: «столица всего передового и прогрессивного»?

Пусть в ней каждому, кто этого заслужил, поможет Господь с претворением самых амбициозных планов!

Но главное в России происходит нынче не там, а в якобы тихой, но все больше осознающей свою ответственность за состояние духа, за нравственное здоровье страны, провинции.

Если хотите, — в Майкопе.

Г. НЕМЧЕНКО,
писатель.